

ЛЕОНИД ЮЖАНИНОВ



ЦЕПИ РОМАНОВА

ПОВЕСТЬ

I

Студёным декабрьским утром 1601 года в Нырбокке, затерявшейся среди глухой тайги Перми Великой, поднялся переполох: готовились встречать престольный праздник Николин день. Накануне мужики вернулись с охоты с хорошей добычей, и сегодня во всех шести домах деревеньки спозаранку жёны, невестки и подростки дочери суетливо хлопотали около печей: варили, стряпали, мыли; тут же крутились невыспавшиеся ребяташки в надежде получить лакомый кусочек. Мужики, намявшие ноги по глубоким таёжным снегам, намерзшиеся за долгие промысловые дни, отлеживались на печках, переворачиваясь с боку на бок, довольно побряхтывая, даже сквозь сон чувствуя, как целебно вливается в тело ядрёное сухое тепло.

А на дворе хозяйничал мороз: трещали брёвна домов, звонко щёлкали жерди изгородей, сизо-белым инеем покрылись деревья, сухой морозный пар столбами поднимался к небу. Птицы попрятались, лишь какой-нибудь несмышлёныш-воробей взлетал из-под застрехи и тут же камнем замертво па-

ЮЖАНИНОВ Леонид Фёдорович родился в 1941 году в селе Редикор Чердынского района Пермской области. Окончил Березниковский строительный техникум. Работал на стройках Пермской и Воронежской областей, прошел путь от мастера до начальника цеха. Автор книг “Хлеб и кровь”, “Терновый венец” и др. Член Союза писателей России. Живёт в г. Россоши Воронежской области.

дал на смерзшийся снег. Изредка взывали собаки, словно накликаая ещё большую стужу.

После обеда мужики, не сговариваясь, собрались в избе Микитки Ларева. Сели за стол. На тяжелой сосновой столешнице, выскобленной ножом до жёлтого блеска, высился вместительный туес с пивом; жена Микитки, сутулая чернявая Окулина, разливала его по берестяным кружкам. Дочь их на выданье — пышнотелая, белолицая Марфа — подносила закуску: жареную зайчатину, пироги с рыбой, мочёную бруснику и солёные грузди в деревянных тарелках. Бабушка Аграфена, почерневшая и согнутая от старости, качала зыбку с младенцем, невнятно напевая что-то грустное. Архинка, восьмилетний отрок, худой, остроглазый, выскочил на улицу.

Мужики вышли по одной, а потом и по второй кружке настоянного на хмелю пива, разговорились. Хозяин — здоровенный мужичина лет пятидесяти, почти саженого роста, русоволосый, русобородый — восседал под образами. Слева прилепился к нему Сенка Дмитриев — тщедушный мужичонка, косоглазый и говорливый. Крепко захмелев, он настойчиво порывался рассказать что-то о Печоре, но хозяин властно останавливал его, не давая прервать начавшуюся беседу. Справа от хозяина — старший сын Варка, после женитьбы отделившийся от отца, живущий своим домом, тоже здоровый детина, но не дотянувший до отца: потоньше в кости, обличьем смахивающий скорее на мать; лицо у него было продолговатое, горбоносое, чернявое. Задумавшись, Варка сосредоточенно крутил тёмный ус. Рядом с ним сидел Ерёмка Бобыль — рыжебородый тощий старик со слезящимися глазами, веки которых так часто мигали, что невозможно было уловить его взгляд. На самом конце лавки примостился молчун Якуш Чёрный — сутуловатый, крепко сбитый, заросший русой, но ставшей от грязи и копоти серой, бородой до самых глаз.

— Че не байте, а пушнину чичас в Чердынь везти нету резону: воеводские отберут задарма, — хозяин потербил себя за мочку уха.

— Это уж так, — поддержал его Ерёмка Бобыль, — ишшо и побыют.

— Верно, — вставил своё слово и Варка. — Хошь и голодно, да надо ждать весны. Торговые люди по Колве сами поднимаются — тогда хошь худой, да прибыль будет.

— А я, когда на Печоре рыбачил, — успел встрять в разговор Сенка Дмитриев, — мы вот таких жерехов ловили! — размахнулся наотмашь, желая показать, каких больших они ловили, и как раз угодил хозяину по кядьку. Микитка слегка повел правой рукой и как муху смахнул Сенку с лавки. Тот молча поднялся и снова уселся на старое место.

В избу вошел староста Ивашка Нос — высокий костлявый мужик, глаза и волосы чёрные, а борода — будто с другого человека снята: рыжая, узким клином спускается чуть не до пояса; кожа лица бледная, морщинистая, рот большой, губы отвислые, отчего рот никогда не закрывался и из него косым частоколом торчали жёлтые зубы. Ходил Ивашка враскачку, ногами двигал, будто по пуду соли тащил на каждой, при этом выдававшиеся вперёд колени тряслись из стороны в сторону. Носил он короткую рваную шубу с оборками, полы которой не закрывали коленей. Островерхий лисий малахай, торчавший на Ивашкиной голове колом, цветом и формой походил на его бороду, перевернутую кверху. Издали казалось, что у него две бороды: одна — на лице, другая — на голове. Валенки на нём были до того разношены, что посередке переломились, носки загнулись вверх, пятки протёрлись насквозь так, что соломенные стельки выглядывали наружу наподобие шпор. Говорил Ивашка низким, каким-то утробным голосом, сильно растягивая слова. Охотник он был удачливый, но ленивый. В деревне его не любили, однако побаивались: считали колдуном, знающим с чертями и прочей нечистой силой.

Ивашка чаще других возил в город пушнину, и мужики нередко доверяли ему своих соболей, белок да куниц, хотя и предполагали, что надувает он их крепко. Зато знали: хоть что-то из продуктов да одежды непременно привезёт. У старосты были в Чердыни знакомые купцы, и он редко возвращался с пустыми руками. А ведь зачастую бывало и так: охотник увозил в город

полные сани шкур, а приезжал обратно пустой, ограбленный да ещё и избитый воеводскими людьми.

— Мир да совет честному дому! — Ивашка Нос снял малахай, перекрестился на образа.

— Слава богу! — отвечивал Микитка Ларев. — Проходи, гостем будешь.

Мужики потеснились, и Ивашка сел рядом с Сенкой Дмитриевым.

— За святого угодника Миколая. — Хозяин поднял кружку.

Молча перекрестились. Выпили. Кто утёрся рукавом, кто грыз зайчатину, кто черпал деревянными ложками мочёную бруснику или подёрнутые аппетитной плёнкой грузди. Сенка безуспешно пытался подцепить ложкой в большом разрезанном пироге поленьскую сорожку.

— Да руками бери, лешой! — одернул его Микитка Ларев. — Кто-и-но ложкой-то рыбу жорёт!

Сенка осоловело поводил глазами, положил ложку.

— Ты, сват, не шибко-то нечистого вспоминай, и так глушь невиданная, давно ль тут нехристи жили, и всякой погани в тайге полно. — Ерёмка Бобль истово перекрестился.

— И то верно. — Микитка почесал бороду. — Но всё равно, ребята, здесь покойней, чем на родине — в земле Новгородской: ни барина, ни боярина. Летось землю наши, зимой белку бей!

Все, кроме Варки, родившегося уже здесь, поникли головами, закружились: будто вновь увидали края славные новгородские, словно годы молодые возвратились, молодые, да не сладкие. Вспомнили, как тридцать лет назад, спасаясь от опричников Иоанна Грозного, пришли они сюда, к Каменному Поясу, на волю вольную и основали у родника, в трёх верстах от неширокой быстрой реки Колвы, крайнее русское поселение. На север же от них и на восток кочевали по тайге *нечестивцы* — язычники: вогулы, остяки, зыряне.

— Ивашка, чего к тебе служивый из городу наезжал? — прервал затянувшееся молчание хозяин.

По лицу Ивашки пробежала тень, и Микитка понял, что задал неприятный вопрос, заставший гостя врасплох.

— Про дорогу справлялся, на Печору. Есть ли дорога, — медленно, как-то неуверенно ответил Ивашка.

— Куды ладишь, староста, пушнину сдавать? — снова спросил Микитка, чтобы увести разговор от неловкости.

— Ещё и не мараковал, наверное, в город повезу.

— Можя, и мою белку продашь? — наконец-то заговорил Якуш Чёрный, образовав в бороде щель, сквозь которую завиднелись белые крепкие зубы.

Но и тут встрял Сенка Дмитриев. Суетясь и подпрыгивая на лавке, он пьяно зачастил:

— Якуш, не давай, не давай, облапошит, истинный крест — облапошит.

— Мелешь языком-то, дурень! Кого это я облапошил? — Чёрные глаза Ивашки зло вперились в Сенку, блеклые щёки его нервно задёргались.

— Меня облапошил, сваток! Зимусь за мешок соболей и куниц привёз три пуда ржи да пять фунтов соли.

— За те твои шкуры и того лишка: у тебя половина товара порченого...

— С каких пирогов — порченого, да я соболя в глаз бью!

— Косым-то глазом?!

Сенка аж на ноги вскочил, готовый ринуться в драку, но Микитка тяжёлой рукой придавил его к лавке:

— Не шуми, пришёл в гости — дак сиди, как люди, не то выставлю вон.

В сенях кто-то настойчиво дёргал, колотил заледеневшую в притворе дверь, но открыть не мог. Якуш Чёрный, встав спиной к выходу, с силой лягнул дверь ногой, она с треском оторвалась от порога, распахнулась, и в избу в клубах морозного пара одна за другой вошли бабы — не было только жены Ивашки Носа. Истово помолились и расселись на лавке вдоль стены. Окулина, низко кланяясь и приговаривая: “Не обессудьте, гостеньки

дорогие!” — поднесла всем по кружке пива, и они, румяные от мороза, раз-
румянились ещё больше, скинули в угол овчинные шубы.

И вот уже с лавки сорвалась жена Сенки Дуня, такая же, как он, не-
угомонная, и пошла в пляс, заметая длинной посконной юбкой пол. За ней
вскочила сноха хозяев Анюта и дробно зачастила по половицам новыми лап-
тями. Увалисто поплыла огрузневшая старуха Ерёмки Бобыля. В круг встала
и ладная бабёнка Якуша Чёрного Катерина. Плясала она легко, раскованно,
ноги её в аккуратных белых чёсанках выделявали замысловатые коленца,
при этом раскрасневшееся полное лицо выражало счастливую отрешенность.
Хозяин схватил железную заслонку от печи и, ударяя по ней ножом, стал
наяривать плясовую. Сенка и Варка Микитин тоже не выдержали, выскочи-
ли из-за стола и пустились вприсядку; и пошла, пошла разудалая пляска под
слаженный напев:

*Уж ты винная ягодка,
Удалой добрый молодец,
У тебя же у молодца,
У тебя лицо белое,
Примени к снегу белому.
У тебя брови чёрные,
Как у чёрного соболя,
У черна у сибирского.
У тебя очи ясные,
Как у ясного сокола,
У ясна перелётного.*

Первыми не выдержали Сенка с Варкой: в изнеможении рухнули на пол.
Бабы, вспотевшие и довольные, что переплясали мужиков, уселись было на
лавке, но хозяева потащили их за стол. Окулина, снова с наговором: “Пей
до дна, пей до дна!” — и низким поклоном, поднесла всем хмельную чарку.
Бабы поотказывались для приличия, но сразу же вышли, утерлись концами
платков, и взлетела над столом песня, рванулась из избы на лютый мороз
и растворилась в окружающем деревеньку лесу:

*Не от ветру, не от вихорю
Сине море сколыбалось,
Сине море да Хвалынское.
Со синя моря Хвалынского
Летят белы лебёдушки
На батюшков на широкий двор,
Во матушкин во высок терем,
Во мою-то белу горницу.
То какие белы лебёдушки?
То мои кумы — подруженьки
С дорогими со гостинцами,
С дорогими со подарками...*

Расходились поздно вечером. Бабы, поддерживая отяжелевших мужей,
украдкой вздыхали, жалея, что вот и прошёл праздник, пролетела короткая
радость.

II

Вскоре после престола по утонувшим в снегу улицам Чердыни, главного
города Перми Великой, мчался крытый возок с казёнными гербами на двер-
цах. Две рослые тонконогие кобылицы, запряжённые гусем, заиндевелившие,
будто украшенные сусальным золотом, несли шибко, из их горячим ноздрей
клубами вырывался белый пар, с пахов жёлтыми хлопьями падала на доро-
гу пена. Ямщик, угрюмого вида детина с широкой бородой в сосульках, бе-
лой от мороза, и обмёрзшими кудлатыми бровями, в длинном нагольном ту-

лупе, закиданном бисером снега, летящим из-под копыт лошади, сердито передергивал вожжами и взмахивал длинным кнутом, стараясь достать переднюю кобылицу. Редкие прохожие шарахались в стороны, с удивлением и интересом поглядывая на крытый возок, невиданный в этих краях, отмечая по впалым бокам лошадей, что путь они прошли неблизкий. Возок, подпрыгивая, стучал передком по буграм неровно укатанной дороги, высекал коваными полозьями из вмёрзших кусков конского навоза искры, визжал на выскобленных до зеркальности раскатах.

На Яме — на окраине города — ямщик сменил лошадей, и возок по зимнику помчался дальше, на крайний северо-восток Русского государства, туда, где уже не было ни городов, ни столбовых дорог, а только тайга да тундра до самого Студёного океана.

В сумерках, отмахав сорок верст, лошади остановились в Нырбке у приземистой длинной избы старосты. Стену из неохватных сосновых бревен, выходящую на дорогу, прорезало единственное оконце, из которого сквозь бычий пузырь едва пробивался красноватый свет лучины. Тёмная фигура метнулась от избы, и возок тронулся в густой ельник, начинавшийся сразу за деревней.

Утром Архипка Микитки Ларева собрался ставить петли на зайцев. Принёс из сеней свитые тятёй из конского волоса крепкие тонкие шнуры с заплетёнными на концах петельками. Чтoб заяц не учуял человеческого запаха, натёр их приготовленными с вечера пихтовыми ветками. Достал с печки толстые носки из овечьей шерсти, присел на голбец, поверх носков обмотал ноги портянками, обул лапти, перекрестил и завязал онучи, стащил с полатей гуньку — она ночью служила ему одеялом, — надел, застегнул крючки, подпоясался кушаком, помолился на образа в красном углу, набросил на голову собачий малахай, натянул на руки шубёнки и вышел во двор.

Мороз отпустил. Редкие снежинки кружились в воздухе и, казалось, не падали на землю. Архипка цыкнул в дырку между зубами и пошёл в ограду. В ограде, забитой поленищами дров, вкусно пахло опилками, сосной, серой. С натугой обеими руками Архипка выгацил воткнутый в толстый чурбак топор с коротким топорщиком, специально сделанным для него отцом, заткнул за пояс, забросил на плечо маленькие, под рост, голицы, обтянутые медвежьим мехом, и, открыв дверку в тяжелых тесовых воротах, вышел на улицу.

Дома деревни, беспорядочно разбросанные, придавленные на крышах толстыми пуховиками снега, снизу, от земли, заметённые так, что виднелись лишь верхние брёвна сруба, стояли, точно грибы-белоголовики — крепкие, приземистые. Необъятная тайга окружала деревню, лишь на задах белела узкая полоска полей да бугрилась пологим скатом пустошь у родника.

По наторенной лошадыми дороге Архипка направился в ближайший лесок. Далеко он не ходил: не пускали тятёка с маткой, но зайцев и тут было много, и не только зайцев: бывало, прямо в деревню заходили волки, а то и медведи. Архипка сам однажды видел волка. Как-то вечером он погнал Воронку на водопой. Щёлкая плёткой, направил коня в лог, к запруде бьющего из-под земли ключа, не замерзающего в любой холод. Воронку, зная дорогу, уверенно вышагивал через пустошь, соединяющую лог с деревней, с другой стороны к логу вплотную подступал лес. Воронку приложился к студёной воде и, всхрапывая, медленно тянул её, обжигаящую губы холодом. Архипка, не доходя саженей двадцати до ключа, пинал по дороге смерзшиеся конские кругляши, зная, что Воронку сам вернётся обратно, поскольку дальше ему идти было некуда: крутом снега выше человеческого роста.

Неожиданно раздалось рычание. Из леса, вспахивая снег, выметнулась большая серая собака и резкими скачками понеслась к Воронку. Воронку тревожно заржал, повернулся крупом и с силой лягнул задними ногами, но промахнулся — собака увернулась, присела, затем, щёлкая зубами, рыча, начала заходить сбоку, выжидая момент, чтоб броситься на шею коню. Воронку, повернув голову, затравленно водил потемневшими глазами, наблюдая за собакой, и одновременно поворачиваясь к ней крупом, готовясь отбить нападение. Собака резко взвилась в прыжке, целясь перекусить горло коню, но мощный удар копытом отбросил её в сторону. Собака поднялась

и, хищно пригибаясь, снова стала заходить сбоку, стараясь перехитрить Воронка: броситься спереди. “Да это же волк!” — только теперь понял и сразу же страшно перепугался Архипка. Не помня себя и крича не своим голосом: “Волк! Волк!” — он припустил домой. Тятя в это время расчищал дорогу перед воротами. Услышав крик, он как был с увесистой березовой лопатой в руках, так и побежал навстречу Воронку. Архипка обессиленно плюхнулся в снег. Он слышал злобное рычание волка, храп Воронка, глухие звуки ударов лопатой и стук своего сердца.

Тятя поднял его, поставил на ноги, отряхнул с гуньки снег:

— Ништо, Архипка, отбили кормильца, пока в хомут нельзя запрягать — потом затянет.

У Воронка на груди висел окровавленный лоскут кожи, вырванный волчьими зубами, правая передняя нога была исцарапана когтями. Воронка выходили, только с тех пор на водопой его всегда сопровождал тятя.

Архипка свернул с дороги, встал на голицы и легко заскользил по белой целине. Сухой снег колко блестел на свету, слегка пылил под голицами. Низкорослые ели и пихты, согнувшись под тяжестью снега, напоминали узкоплечих старух, идущих на богомолье. Как ни старался Архипка идти осторожно, но задевал деревья, и они, точно в отместку, осыпали его снегом, который падал за воротник, охлаждал шею и спину. Молодой подрост цеплялся за голицы, за ноги, словно не хотел пускаться в лес. Дальше деревья пошли реже и выше, вперемежку с елями росли берёзы и осины, рябины и ольхи, под ними густо переплелись звериные и птичьи следы.

На душе у Архипки было празднично и светло. Воздух пахнет хвоей, свежестью и ещё чем-то непонятным, захватывающим воображение. Дятел устало стучит по сухой лесине, красногрудые жуланы клюют мороженые ягоды рябины, синицы и ещё какие-то птахи перелетают с ветки на ветку. Хорошо!

Он остановился у молодой тонкой осины с ободранной внизу корой, заячьи следы частым кружевом расписали снег вокруг неё. “Обглодали не всю, только начали, значит, придут ишшо”, — подумал Архипка. Достал из-за пояса волосяной шнур, просунул конец в петельку — получилась круглая петля. Разложил он её около осины, свободный конец надёжно привязал к основанию ствола, сломал пихтовую веточку и всё вокруг припорошил снегом. Внимательно осмотрел свою работу: ничего не видно, никаких следов. Тогда он пошёл к следующей осине.

Неожиданно до него донесся непонятный звук: не то стон, не то плач. “Видно, заяц. Когда его поймаешь, он плачет, как ребёнок, до того жалобно, что хоть сам реви”. Прислушался: нет, не заяц. Архипке стало жутко, но любопытство взяло верх, и, преодолевая страх, он повернул на звук. Продираясь через ельник, Архипка приближался к волчьей яме.

Волчья яма — западня для волка. Если в деревне начинал пошалаивать волк, мужики выкапывали в лесу яму, большую, глубокую, забрасывали её ветками, сверху клали кусок свежей лосятины. Ночью, чуя запах мяса, волк подходил к яме, бросался на приманку и с треском проваливался вниз, откуда выбраться невозможно.

— О-у-у, — обреченно-тоскливо несло из ямы. Замирая от страха, Архипка приблизился к краю. На дне ямы, в углу шевелилось что-то мохнатое. Услышав Архипку, оно вскопало.

— Лешой! Лешой! — потеряв с головы малахай, не помня себя, Архипка несся домой. — Он влетел в избу: — Тятя, тятя! Лешой! Лешой! — грохнулся на колени, истово стал бить поклоны пред иконами, молясь Господу Богу.

Перепуганная бабушка Аграфена, бросив качать зыбку, в которой тут же заревел младенец, поспешила во двор за отцом. Тот насилу успокоил Архипку.

Выслушав сбивчивый рассказ сына, Микитка Ларев отправился в ельник, захватив с собой икону, вилы и топор. Неся на вытянутой руке икону и защищая себя тем от нечистой силы, Микитка подошёл к яме. Увидев икону, существо поднялось и, высвободив руку из глубокого рукава соболиной шубы, двумя пальцами по-христиански перекрестилось; при этом на руках его тоскливо зазвенели цепи. “У-уф!” — у Микитки отлегло с души: нечис-

тая сила не крестится и, по поверью, при виде иконы исчезает. Под ним стоял юноша, на руках и ногах его висели цепи.

— Чей будешь, раб божий? — Микитка опустил икону, но выставил вилы.

— Боярин Михаил Романов сын Никитин, племянник Ивана Васильевича.

— Племянник Иоанна Грозного?! Врёшь, нечистый дух! — Микитка закашлялся.

— Вот те крест. — Боярин перекрестился.

— Почём знать, что ты племянник Иоанна свет Васильевича?

Юноша озябшими руками расстегнул шубу, откинул её назад, на плечах засияли бармы — парчовое оплечье, с которого на Микитку сердито глядели лики святых. Микитка смешался: бармы — знак царский. Юноша, гремя цепями, отрешённо стянул шапку. Давно нечесанные волосы его свалились в колтун. Маленькая чёрная бородка кудрявилась, обрамляя красивое, чисто славянского типа лицо, редкие юношеские усики подковкой охватывая волевой рот, соединялись с бородкой. Большие серые глаза смотрели на Микитку тяжело, беспокойно.

— А пошто ты здесь? Бояре — они в Московии правят.

— Борис Годунов сюда заточил.

— За чо он тебя заточил?

— Боится за престол. Решил всё гнездо Ивана Васильевича извести, царевича Димитрия в Угличе зарезал, остальных сослал кого куда.

— Дядя твой Иван Васильевич тоже немало люду извёл. — Микитка вспомнил, как опричники грабили новгородские деревни, как в реке Волхов сотнями топили ни в чём не повинных крестьян. — По его-то милости и мы в этой глухомани лешачим!

— Я за него не ответчик!

— Это так, тебя тогда и на свете не было. — Микитка устыдился своих упрёков.

— Кар-р, кар-р! — злобно раскаркалась ворона, уютившись на высокой сосне, одиноко стоящей среди елей и пихт.

— Кыш-ш, вещунья! — Микитка махнул вилами, и она, осыпая снег с разлапистой ветки, лениво помахивая крыльями, улетела.

— Одейся, боярин. Зла за спрос не держи. Напужались мы шибко. — Микитка почтительно снял затасканную баранью шапку, сунул её за кушак, поклонился в пояс.

— Выручи меня отсюда, душа христианская, не знаю, как звать-величать тебя. — По обмороженному лицу юноши пробежали судороги.

— Микитка я, Ларев. Как тебе пособить — и не ведаю. О-хо-хо! Боярин, боярин. Душа невинная. — Он потоптался, надел шапку, снова снял.

— Чичас отрока пошлю, еды тебе принесёт. А уж как вызволить — и не ведаю. — Микитка повернулся, поднял Архипкин малахай и с непокрытой головой заскользил голицами к деревне.

III

Стрельцы не спали всю ночь: не давали покоя клопы и тараканы. Лишь под утро усталость сморила их, да и паразиты к рассвету утихли. Первым, около обеда, проснулся Тушин — начальник стрельцов. Лежа на двух грубых лавках, застланных тулупом, он принялся рассматривать жилище старосты. Вчера вечером при свете коптящей лучины он толком ничего и разглядеть не смог.

Изда Ивашки Носа была около десяти квадратных сажен. Русская печь, сбитая из глины, занимала четверть избы, от печи до противоположной стены тянулись полати. Печь топилась по-чёрному, без трубы: прямо над челом в потолок было вырублено отверстие, через которое дым вытягивался на улицу. Толстые брёвна стен, потолок из широких плах, да и сама печь были черны от сажи. По ним полчищами сновали тараканы, а на потолке красными гроздьями висели клопы. Тушин с омерзением содрогнулся. Дневной свет сла-

бо проникал через два оконца, закрытые бычьими пузырями. В избе, кроме неуклюжего, грубо сколоченного стола и таких же лавок вдоль стен, ничего не было. Тушин поднялся, зло сплонул на деревянный пол, затоптаный до того, что он казался земляным, растолкал спавших на голбце двух стрельцов.

На улице закриштели сани, и в избу ввалилось четверо отставших в дороге стрельцов, везших на подводах поклажу. Вместе с ними приехал и чердынский тиун Иван Петрович — маленький, юркий, с рыжей бородой и бегающими вороватыми глазками. Убрав лошадей, в избу вошёл и староста.

— Злодей не убёт? — строго спросил его Тушин.

— А куды бечь-то, гольные снега. — Ивашка Нос смачно высморкался под порог.

— Что за скотство! — Тушин едва не ударил Ивашку.

— Чеино, ваша милость, мы люди тёмные.

— Чеино! Эх, ты, зверь лесной! — Тушин начал одеваться. — Собирай людишек.

Староста обошёл избы. Жители деревеньки, включая ребятишек, собрались в проулке между домами. К ним примкнул вышедший из лесу Микитка Ларев, он сообщил нежданную весть. Бабы, закутанные в серые шали из овечьей шерсти, концами их уже утирали глаза. Ребятишки жались к матерям, держась за длинные, до пят, холщовые юбки.

Тушин, Иван Петрович, стрельцы и староста медленно приближались к собравшейся толпе народу. Разномастные пушистые собаки с загнутыми крючком хвостами сопровождали их злобным лаем.

Ивана Петровича узнал Ерёмка Бобыль:

— Гляди-ко, паря, тиун воеводский! Зимусь я в Чердынь белку возил, так он меня едва живота не лишил: белку отбирал, а я не давал, и шибко меня тогда воеводские побили. Побили и белку увезли!

— Осподи, осподи, помилуй нас!

Вперёд вышел Иван Петрович:

— Холопы, с вами будет говорить начальник из Москвы Роман Андреевич Тушин, — и тут же спрятался за спину Тушина.

Мужики стянули шапки, обнажив нечесанные головы.

Тушин переступил ногами, похрустел снегом, запахнул длинную медвежью шубу, поправил богатую шапку. Он был средних лет, чёрный, с редкой татарской бородёнкой, большеротый, коротконосый. Взгляд маленьких чёрных глаз из-под кустистых бровей был зол и полон ненависти: из зрачков его будто лилась ядовитая желчь.

— Слушайте, людишки ныробские! По царскому указу привезли мы сюда страшного злодея, который хотел извести колдовством благоверного государя Бориса Феодоровича. Живо навалите брёвен и накройте злодею яму. И упаси вас Боже болтать о том, что увидите.

Крестьяне медленно потянулись в ельник, к волчьей яме. Мужики рубили деревья, очищали их от сучьев, готовили накат. Стрельцы опустили лесенку, узник поднялся из ямы. Затем двое из них спустились в яму, сложили из камней нехитрый очаг. Вылезли, потом сбросили вниз огниво, трут и берёзовые поленья.

Тушин командовал. Мужики быстро накатали на яму брёвен, сверху навалили камней и мерзлой земли, оставив вход в полсажени.

Узник молча смотрел на своих палачей. Мужики, бабы, ребятишки — все глядели на него с жалостью, со страхом, однако, косясь на Тушина. Узник был хорош собой и могуче сложен. Железный ошейник охватывал его шею, давил плечи, ручные и ножные кандалы соединялись цепью с ошейником, и всё вместе замыкалось тяжёлым замком хитрой работы. Эти огромные оковы весу имели до трёх пудов, а узник, казалось, и не чувствовал их на себе. Только бледность лица да вздрагивающие губы выдавали его волнение.

— Ну, боярин Романов, опочивальня тебе готова! — ехидно рассмеялся Тушин.

— Опять в яму?.. Меня?..

— Уж не обессудь, боярин! — с лицемерным вздохом проговорил Тушин. — Такова государева воля, а мы — слуги царские, не можем послушаться.

Гневно вспыхнуло лицо юноши. Гремя оковами, он резким прыжком отскочил в сторону, схватил тяжёлый еловый стяг, которым мужики накатывали брёвна. Двое стрельцов повисли у него на руках, но он сбросил их резким движением, медведем пошел на Тушина, но тут подскочили остальные стрельцы и, точно собаки, начали рвать его со всех сторон. Выронив стяг, он волочил их по рыхлому снегу, нечеловеческим усилием тащил за собой клубок озверевших стрельцов и, только обессилев, упал. Натешившись над поверженным пленником, стрельцы сволокли его, обеспамятевшего, в яму.

— Закрывай вход! — с пеной у рта кричал Тушин.

Лестницу вытянули, закрыли брёвнами вход, оставив небольшую дыру для подачи пищи и дров.

Мужики тупо смотрели в землю, ребяташки шмыгали носами. Бабы шёпотом успокаивали их, незаметно показывали на Тушина: “Злыдень-то учует!” — а у самих по щекам катились слёзы.

IV

Оставив стрельцов охранять узника, Тушин укатил с Иваном Петровичем в Чердынь. Выехали затемно, полозья возка легко скользили по мягкому снегу, кони, чувствуя малый груз, бежали ходко. Незаметно проскочили погосты Искор, Вильгорт, Покча и уже к полудню подъезжали к городу.

Тушин засмотрелся на открывшуюся перед ним картину. Слева, насколько хватает глаз, простиралась заснеженная тайга, сквозь неё, точно неровная просека, пробивалась река Колва. Скованная льдом, занесённая снегом, несла она холодные воды в красавицу Вишеру, бегущую с предгорий Каменного Пояса. Там, в верховьях Вишеры, как сказочный богатый, поднялся над тайгой Полнод-камень, гордо взметнув ввысь свою синюю голову. Вокруг — ни звука, природа словно застыла в зимнем очаровании.

Впереди, на высоком правом берегу Колвы, на семи холмах разбросала свои постройки Пермь Великая Чердынь. На центральном Троицком холме, на обрывистом берегу реки оцетинился боевыми башнями и деревянными крепостными стенами, опоясанными земляным валом, кремль с церковью Воскресения посередине. Внутри кремль был плотно застроен амбарами и домами на случай осады города. К стенам примыкал посад, обнесённый острогом с башнями, бойницами для стрельбы и крепкими воротами. Посад был во много раз больше кремля, скученно стояло в нём более сотни дворов, лепились торговые лавки, дымились несколько кузниц. Далее посада с севера на юг в длину и на запад в ширину протянулись узкие улочки, составленные из неказистых деревянных домишек ремесленников, мелких торговцев, крестьян. Впрочем, среди них были заметны и добротные постройки: дом воеводы, съезжая и таможенная избы, государев кабак, тюрьма, дворы духовенства, кушоды, земских начальников, соляные и хлебные амбары. Над невысокими городскими постройками вознеслись купола доброго десятка церквей и двух монастырей: мужского Иоанно-Богословского и женского Успенского. Сразу за домами начинались поля, белой снежной лентой отделявшие город от тайги. За рекой, напротив кремля, на низком левом берегу, каждую весну затопляемом неудержимыми вешними водами, белел небольшой луг.

— Залё-ё-тные! — крутанул вожжами ямщик, и уставшие кони, чуя близкое жильё, дружно понеслись под гору, только снежная пыль завихрилась, и, наконец, выкатили возок на прямую безлюдную улицу. Лохматые собаки, азартно лая, выскакивали из подворотен и спутанным лохматым комом катились следом. Огромные сугробы, образовавшиеся от расчистки улицы и подъездов во дворы, заслоняли дома так, что с дороги видны были лишь крыши да почерневшие трубы, из которых валил сизый дым. Крылечки домов были завалены снегом, и войти внутрь можно было только со двора, через сени. Ближе к центру дома пошли повыше, двухэтажные, из толстых кондовых бревен, с расчищенными от снега подъездами; стали попадаться обшитые тёсом лавки купцов, замелькали во дворах и вдоль дороги стволы берёз, тополей, черёмух.

В центре города ямщик на полном ходу повернул влево, на улицу, идущую к берегу, под уклон, возок раскатился на повороте, накренился, сажень пять проехал на одном правом полозе, затем со стуком выровнялся и покатил дальше. У дома воеводы ямщик упёрся ногами в облучок, всем телом откидываясь назад, натянул вожжи: “Тпру-у-у!”

Кони присели, запахали копытами по дороге, шлея врезалась кореннику в кожу, хомут полез на уши; казалось, разогнавшийся возок вот-вот сомнёт его, раздавит, но он, бешено выкатив кровавые белки, устоял. Со скрипом открылась промерзшая дверца, и Тушин с Иваном Петровичем вывалились наружу. Разминая затёкшие ноги, Тушин осмотрелся. Белый каменный двухэтажный дом воеводы глядел на него узкими, как бойницы, окнами с узорчатыми решётками между рам. К подъезду вела хорошо расчищенная дорожка, устланная большими, тёсанными из камней плитами. Прикрывала подъезд лёгкая двускатная крыша, одним концом покоившаяся на фигурных чугунных столбах, другим — на ажурных литых консолях, вделанных в стену.

По широкой мраморной лестнице поднялись наверх. Стража, зная Ивана Петровича, пропустила их. Вошли в зал. Пол, высланный глазурованными плитками с затейливым восточным узором, напминал ковер. Глухую стену зала занимала печь, облицованная блестящими голубыми изразцами. Из зала в противоположные концы разбегались два нешироких прохода, по обеим сторонам которых горбились крутые своды палат. Тушин насчитал семь дверей. “Богато живёт воевода”, — позавидовал он.

Вернувшийся слуга доложил:

— Воевода ждёт!

Воевода Григорий Гиневлев восседал на стуле с высокой резной спинкой, похлопывая обими ладонями по широким подлокотникам, и что-то диктовал писарю, примостившемуся справа от него за краешком стола. Лысый благообразный писарь усердно водил гусиным пером по бумаге, так низко склонившись над столешницей, что чуть не размазывал чернила короткой остренькой, торчащей, как сук, бородкой.

Седовласая голова воеводы, пышная белая борода его, богатый кафтан со стоячим воротником, плотно облегающий расплывший стан, гордая осанка вызвали у Тушина невольное почтение.

Воевода внимательно оглядел вошедших единственным глазом и пригласил сесть.

— О вашем приезде я извещён. Бумагу от государя получил. Какая нужна помощь? — холодно спросил он.

— Пока никакой. С Божьей помощью упрятали злодея надёжно, — с вызовом ответил Тушин, недовольный холодностью воеводы.

“Это вы можете, псы лукавые!” — зло подумал Гиневлев о Годунове и Тушине. Злость эту подогривало и то, что он год назад приехал из Сибири, где добывал хана Кучума и где татарская стрела выбила ему левый глаз. “Но надо поласковой с ним, все же царский посланник”.

— Как устроился, э-э... — замялся воевода, не зная как назвать Тушина.

— Роман Андреевич! — услужливо подсказал Иван Петрович.

— Роман Андреевич.

— Как можно устроиться в этом медвежьем углу, Григорий Юрьевич?! Даже избы порядочной нет, грязь и вонь. Но роптать не на что, мы слуги царские, и указ благоверного Бориса Феодоровича исполним.

— Да, да, Бог терпел и нам велел.

Воевода что-то шепнул писарю, тот, подхватив бумаги, выскользнул за дверь. Они ещё немного поговорили, и воевода поднялся:

— Делу время, потехе час! Прощу отобедать.

После щедрого обеда, на котором много было съедено сладких яств и ещё больше выпито заморских вин, захмелевший воевода, не дав Тушину отдохнуть с дороги, потащил его осматривать город. Но впечатление было испорчено с самого начала. Только вышли на посад, как услышали крики и брань. Возле крайней торговой лавки двое пьяных стрельцов избивали мужика. Стрельцы колотили беднягу кулаками, пинали ногами, стараясь отнять ме-

шок с пушниной, а он, распластавшись поперёк саней, намертво вцепился в него руками. Второй мешок валялся в снегу неподалеку от саней, вывалившись из него шкурки соболей отливали мягким тёплым блеском.

Занятые грабежом стрельцы не заметили высоких гостей, стоящих рядом с воеводой. Рассерженный воевода наотмашь ударил крайнего по затылку, тот кулём рухнул в снег.

— В тюрьму! На дыбу! — рокотал воевода, охаживая второго стрельца попавшей под руку плетью мужика. Воеводская стража скрутила стрельцам руки, увела их. Избитый, с окровавленным лицом, но улыбающийся охотник низко кланялся воеводе:

— Заступник! Дай Бог тебе мно-огая лета! Мно-огая лета!

— Тиун! — рывкнул воевода. — Лоботрясам-стрельцам устрой состязание! — и уже тише добавил подбежавшему Ивану Петровичу, чтоб не слышали остальные: — Этих драчунов в холодную, как проспятя — выпустить, а холопа сей час — вон из города, чтоб духу не было. Шкурки ко мне — п-по-нял?!

— Всё понял — будет сделано, будет сделано!

— Да смотри у меня!

— Не сомневайся, Григорий Юрьевич, будет сделано, будет сделано, — залебезил Иван Петрович, понимая, на что намекает воевода: в прошлый раз, по приказу Гиневлева забрав у охотника шкурки, он половину оставил себе, но воеводе об этом донесли.

Иван Петрович, пятась задом, беспрестанно кланяясь, удалился.

— К-крапивное семя! — сплюнул влед ему воевода и направился к Тушину.

Они осмотрели кремль с шестью башнями и тайник — подземный ход к Колве. На вооружении кремля были три медных пушки, около десятка крепостных пищалей, полторы сотни ружей, имелся и пороховой погреб с амбаром. Тушин отметил про себя запущенность кремля: деревянные крепостные стены, формой напоминающие пятиугольник, во многих местах подгнили, кровли на башнях обветшали, подземный ход обвалился. Но особенно его поразило отсутствие ратных людей на службе: стрельцы или занимались домашними делами, или пьянствовали.

— Григорий Юрьевич! Почему нет наряда на остроге? — осторожно спросил Тушин.

— А зачем? — спокойно ответил воевода и, увидев в глазах Тушина удивление, добавил: — Он и не нужен, — и пояснил: — Последний набег вогуличей на Чердынь был два десятка лет назад; тогда их так шуганули, что они убрались за Каменный Пояс, а те, что остались, малочисленны — не посмеют. Татар же ещё Ермак Тимофеевич за Иртыш спровадил.

— Ты тоже воевал с Кучумом?

— Пришлось, — нелюбезно ответил воевода и, не желая продолжать этот разговор, предложил:

— Поедем на состязание.

На южной окраине города, на ровном утоптанном поле царило оживление: по одному гарцевали конные стрельцы, разминая лошадей, кучками топтались пешие, у каждого, кроме оружия, были ещё и лыжи.

Раздался заполошный звон колокольчиков, на поле ошалело выскочила тройка серых в яблоках жеребцов и встала, как вкопанная. Из кибитки помолодому выпрыгнул воевода, за ним, путаясь в полах длинного тулупа, писарь. Следом подъехал на своем возке с гербами Тушин. Конные и пешие стрельцы подтянулись на край поля, разобрались парами. Тушин внимательно смотрел на непонятные для него приготовления.

Впереди в один ряд выстроились конные, сзади, сажень в пяти, по одному за каждой лошадей, — пешие стрельцы. От нагрудника каждой лошади тянулись тесёмные постромки. Пешие встали на лыжи, взяли постромки в руки, натянули их, выбирая середину. Воевода в сопровождении тиуна, распорядившегося приготовлениями, обошёл выстроившихся ратников и, что-то недовольно выговорив тиуну, двинулся к центру поля. Тушин — за ним. Выждав, когда воевода с Тушиным займут удобное место, Иван Петро-

вич махнул рукой. Кони рванулись, но груз сзади не дал им перейти в галоп, и они пошли размашистой рысью, с каждой саженью ускоряя бег.

Три десятка пар пронесли мимо воеводы и Тушина, обдав их снежной пылью. В конце поля всадники повернули налево, и двое стрельцов на лыжах, не справившись с поворотом, упали, а один, запутавшись рукой в постромке, волокся следом за лошадыю. Первый круг прошли ровно, на втором вырвалась вперед рыжая кобыла, грива и хвост которой были какие-то блеклые, будто выгоревшие на солнце. Топот и храп коней, крики и свист стрельцов, шум собравшихся зрителей... Скачки захватили и Тушина: он вертелся из стороны в сторону, стараясь не пропустить ничего. Вот на одном повороте вороной жеребец скакнул в волокущиеся постромки упавшего стрельца и, подсеченный ими, рухнул наземь, следующий за ним конь не успел отвернуть, врезался в вороного и закувыркался вместе со всадником. На третьем, последнем круге рыжую кобылицу обошёл грудастый гнедой жеребец со звездой во лбу, он и прискакал первым.

Воевода, возбужденный, раскрасневшийся, отламывая с усов намёрзшие сосульки, спросил Тушина:

— Ну, как?

— Сильно! Я ещё таких штук не видал.

— Моя диспозиция! — воевода довольно ухмыльнулся.

— Сам изобрел?! — поразился Тушин.

— Сам. Придумал. Да. — Раздельно, не спеша ответил воевода и, увлекаясь, затараторил: — Ты пойми, ведь это большущее преимущество в военных действиях зимой. Представляешь? — притянул он за борт шубы Тушина. — Передвижение войск в наступлении увеличивается во множестве, уязвимость наших ратников сокращается. А маневр?! А сила?! А...?! Понял?! А...?! — и, отпустив недоумевающего Тушина, направился к стрельцам. — Пойду, отмечу соколов.

Воевода похвалил воинов за старание, а стрельцов первой пары одарил новыми кафтанами добротного сукна. Нелегко дались скачки: один стрелец был насмерть задавлен лошадыю, трое получили увечья, две лошади сломали ноги, одна — шею. Наказав Ивану Петровичу прибрать убитого и помочь раненым, воевода подошёл к Тушину.

— Что, Роман Андреевич, развеемся?

— Как это?

— Поедем к девкам!?

— Поедем! — с радостью согласился взбудораженный состязанием Тушин.

— Тогда садись ко мне, веселее будет, а твой возок пусть за нами правит. Тихон! — окликнул он замешкавшегося писаря. — На займку!

Ночью на займке среди векового соснового бора в большом двухэтажном доме, срубленном из неохватных лиственниц, стоял разноголосый шум, лились песни. Двери дома были распахнуты настежь, через них суматошно сновала прислуга, напуганная приездом воеводы. Сквозь окна, затянутые слодой, на улицу проникал слабый свет, который ложился перед домом продолговатыми желтыми полосами; снег в этих местах переливался, мерцал бледным неземным светом.

Дом этот был срублен для воеводы на живописной поляне у студёного ручья, вода в котором даже в жаркие летние была до того холодна, что зубы ломило. Гиневлев наезжал сюда отдохнуть, а остальное время дом пустовал. Рядом стоял второй дом: длинный, приземистый, днём отливающий янтарём сосновых брёвен, а сейчас тёмный, загадочный... В нем жили наложницы воеводы; дальше, на краю поляны, чуть виднелась небольшая изба, в которой ютилась прислуга.

В доме воеводы пир шёл горой. Потрескивая, ярко горели берёзовые лучины в витых железных светильниках, расставленных вдоль стен; ломились от дорогих кушаний и крепких вин столы, за которыми сидели воевода с Тушиным да опьяневший писарь с румяной хохочущей девкой, которую он безуспешно пытался посадить к себе на колени. В углу у дверей играли гусли:

*Среди царства Российского,
Государства Московского
Тут стояли палаты белокаменные,
Белокаменные палаты златоверхие.
Тут стояли столы да дубовые,
На столах столесенки кедровые,
На столесенках скатёрочки шиты бранные,
Изнаставлены яства сахарные.
Тут сидели да князья-бояре.
Промеж ими сидел добрый молодец,
На коленях держал звончатые гусли...*

Под напевную, звенящую мелодию гусликов посередине горницы танцевали наложницы, исполняя на чистом, выскобленном до желтизны полу каждая свой танец. Тушин жадными пьяными глазами разглядывал женщин. Вот две светло-русые дородные тверичанки в русских сарафанах плавно проплыли перед столом, помахивая платочками, весело оттопывали крутовую пляску стройные ливонки, чуть в стороне дёргалась в языческом экстазе приземистая вогулка. Здесь были и татарки, и польки, и зырянки...

У Тушина глаза разбегались от такого обилия женской красоты, но больше всех ему понравилась персиянка. Он громко хлопнул ладонью по столешнице:

— Шу-ру!!!

Наложницы расступились, и вперёд вышла персиянка Шергия, окрещённая воеводой. Чистая нежная кожа её лица покрылась смуглым румянцем, тёмным шёлком спускались на плечи густые длинные волосы. Её большие чёрные глаза притягивали какой-то необъяснимой магической силой. Формы её были соблазнительны: плечи, грудь, бёдра были так пленительно вылеплены природой, так налиты молодостью, что казалось, всё в ней создано для любви и наслаждения.

— Как подушка! — воскликнул пьяненький Тушин. — Григорий Юрьевич! Отдай мне её! Хоть на ночь! — воскликнул он, увидев недовольство в глазах воеводы.

Воевода медлил с ответом. “Ишь, чего захотел, мошенник! Персиянку! Губа не дура!” — злобно мешались мысли в голове воеводы. Шура была самой сладкой наложницей, она была так нежна, так естественна в своем сладострастии, знала такие упоительные любовные утехы, каких ни с одной женщиной за всю свою жизнь Григорий Юрьевич не испытал. Она была дорога ему, и, не признаваясь в этом даже самому себе, Гиневлев зачастил на заимку ради неё.

Неожиданно в его глазах вспыхнули весёлые искорки.

— Согласен, я тебе — Шуру, ты мне — возок с гербами.

— По рукам. — Тушин стиснул обеими руками шершавую ладонь воеводы.

Воевода подозвал высокую суровую старуху — старшую над наложницами, — и что-то сказал ей на ухо. Старуха, обметая ступени подолом широкой юбки, поднялась по лестнице наверх.

Персиянка танцевала. Как две змеи, изгибались её руки, ноги в цветных шароварах плавно кружили тело. Между тем полные бёдра выделяли свой собственный танец, соблазнительный и прекрасный, и вся её чудно сложенная фигура жила мелодией. Вот она села на пол, поджав под себя ноги. Округлые плечи, грудь, живот страстно задрожали в едином самозабвенном порыве, и она, медленно отклоняясь назад, почти коснулась головой пола, а затем резко выпрямилась.

— Ты знаешь, как это называется? — спросил воевода совершенно сомлевшего Тушина и, не дожидаясь ответа, захохотал: — Танец Евы!

Тушин никак не отозвался на смех воеводы, его занимало другое.

— Так я её забираю? — переспросил он.

— А куда торопиться? Успеешь намоловаться! Давай-ка лучше выпьем.

— Давай! — нетерпеливо потянулся к кубку Тушин. Чокнулись, выпили ароматного вина. Тушин встал из-за стола, подошёл к персиянке и, взяв за руку, поднял с пола. Она испуганно посмотрела на воеводу, тот утвердительно кивнул, и девушка покорно пошла за Тушиным. Спускавшаяся с лестницы старуха повернулась и повела их наверх. У одной из дверей она оставила Тушина, а с персиянкой вошла внутрь. Вскоре она вышла и сказала Тушину, что он может войти.

Тушин ступил в маленькую, уютно убранную комнату. У завешенного окна стоял стол и два резных стула, напротив, у глухой стены — большая кровать с пышно взбитой периной, на полу — ковры. Наложница в лёгком открытом платье из прозрачной ткани покорно сидела на ковре. Тушин бросился к ней, голова его кружилась, руки дрожали, но персиянка вскочила, увернулась от его грубых объятий и что-то залопотала на своём, не понятном ему языке, показывая на стол, где стояли закуски, вино и два хрустальных бокала.

— А, ясно! Сначала выпить?

Он рухнул на стул, она взяла бокалы, сама налила вина и один поднесла гостю, а с другим села к нему на колени. Чокнулись, выпили, и она, соскочив на пол, начала танцевать. Разнеженный Тушин смотрел на очаровательную персиянку, блаженствовал:

— Хороши восточные порядки, ох, хороши!..

Неожиданно в глазах Тушина девушка начала двоиться.

Потом он увидел трех, четырех красавиц, затем снова появилась одна, но почему-то стала удаляться от него, все уменьшаясь и уменьшаясь, пока не превратилась в крохотную точку. Тушин протянул руки, пытаясь удержать исчезающее счастье, но какая-то неодолимая сила помutilа его разум, и он мешком свалился на стол.

Проснулся Тушин перед обедом. Приподнялся на локте и обмер. Вместо красавицы персиянки рядом с ним лежала безобразная девка: чёрная, широколицая, узкоглазая, с волосатой бородавкой на толстом носу. Он в ужасе спрыгнул с кровати, торопливо оделся и спустился вниз. Во всём доме он не встретил ни одного человека. Вышел на улицу. У крыльца стояли его лошади, запряженные в розвальни.

— А где возок? — ударил он по шее задремавшего ямщика.

— Воевода забрал.

— Как забрал?! — Но вспомнив вчерашний обмен, Тушин замолчал.

— Гони! В Нырбку! — приказал он дрожащему от страха ямщику и плюхнулся в розвальни на сено, раздосадованный любовной неудачей и злой на воеводу.

V

Михаил Романов промёрз основательно. Холод сжимал все его члены, казалось, он проникал даже под кожу. Михаил быстро вскочил с земли и тут же больно ударился головой о бревно наката. Глухо вскрикнул. Очнувшись от тяжелого сна, он забыл, что потолок ямы низок и не даст распрямиться: стоять тут можно было только согнувшись.

Темница Михаила была настоящей могилой. Сырая суглинистая земля ямы замёрзла, когда же узник разжигал очаг, яма наполнялась дымом, который не успевал вытягиваться через маленькое отверстие в накате. Когда очаг разгорался, земля оттаивала, и грязные капли воды стекали со стен и потолка, затопляя пол. Одежда на Михаиле постоянно была мокрой и уже начала рваться от сырости. Когда гас очаг, он мёрз, когда горел — задыхался от дыма; вдобавок воздух был тяжелым из-за испражнений, которые некуда было убрать. В яме было темно, лишь днём узкий лучик света пробивался у входа. От грязи и плохой пищи — Михаилу давали через день берестяной туес воды и полфунта хлеба — на теле его завелись паразиты, которые досаждали ему ужасно. Помощи ждать было неоткуда, Михаил надеялся лишь на Бога, верил ему и молился, молился, молился. Эта вера поддерживала его, придавала ему силы, была единственным его утешением.

Михаил подтянулся на руках к выходу, глотнул свежего морозного воздуха, закашлялся. Кашлял долго, с надрывом. Откашлявшись, посмотрел вверх. Сквозь узкое отверстие в накате он видел, как в небе отступала темнота, занимался поздний серый рассвет. Надышавшись, нащупал руками огниво, трут, принялся разводиться огонь. Сырые дрова разгорались плохо: чадили, трещали, это занятие отняло последние остатки сил. Он достал из-за пазухи кусок ржаного хлеба, начал осторожно есть. Остистый, непропеченный хлеб хрустел на зубах, колот небо. Михаил не заметил, как съел весь кусок, но чувство голода не оставляло его. До завтрашнего утра у него не было теперь ни крошки хлеба, а впереди — длинные холодные и голодные сутки. Сколько их уже было — он потерял им счёт. Юноша попил из тучеса студёной воды, встал на колени и долго шептал молитвы, истово бил поклоны. Затем поудобнее примостился у огня, уставился на красные, успокаивающие разум угли... его одолели тени воспоминаний.

...Москва. Умирает Никита Романович Романов-Юрьев. У постели отца вместе с Михаилом — его любимые братья Федор Никитич, Александр Никитич, Иван и Василий. Рядом стоит и Борис Годунов.

— Доблестный боярин, славный муж Никита Романович, будь покоен за чад своих. Я заменяю им отца! — торжественно клянется Борис.

Отец не может говорить, лишь слабой рукой благословляет сыновей.

Никита Романов и Борис Годунов в числе пяти именитых бояр были избраны Иоанном Грозным перед кончиной советниками его сына Феодора. Никита Романович и Борис Годунов были дружны, оба ревностно служили Отечеству. Поэтому клятва Годунова была воспринята как должное.

И действительно, в течение четырнадцати лет привольно и беспечно текла жизнь пятерых братьев Романовых. Особенно выделялся среди них старший брат — Феодор Никитич. Красавец, прекрасно сложенный, удалец и храбрец. О красоте его по Москве ходили легенды, и если хотели польстить пригожему молодцу, то ему говорили:

— Ты совершенно как Феодор Никитич!

Кроме того, Феодор был умён, начитан, знал латынь. Михаил старался во всем подражать брату. Богато одарённый от природы здоровьем и силой, он был постоянным участником кулачных боёв на Москве-реке, не чурался и других забав, свойственных молодости, воспитывая в себе характер воина и мужа.

Но вот в тысяча пятьсот девяносто восьмом году умер царь Феодор и на престол сел Борис Годунов. Он знал, что перед смертью Феодор желал, чтоб на его месте был кто-нибудь из Романовых, самых близких по родству прежним царям. А тут ещё пронесся слух, что законный наследник престола царевич Димитрий — младший сын Иоанна Грозного — жив, что Нагие до ссылки в Углич подменили его другим ребёнком. А ведь убийцей Димитрия считали его — Годунова. А ну как знатные бояре, эти гордые Рюриковичи, поверят молве и спихнут его с трона? Они и так с трудом переносят на престоле потомка татарского князя Мурзы Четы.

Да, чтобы остаться у власти, можно сделать лишь одно: уничтожить знатных бояр. Болезненная подозрительность и недоверие Годунова вырываются наружу и приносят свои кровавые плоды. Схвачен и гибнет князь Бельский, перед смертью пережив позорное унижение: по велению Бориса царский медик-иностранец вырывает у Богдана Бельского густую длинную бороду по одному волоску.

Теперь пора расправиться с Романовыми, но всё нет повода: братья усердно служат Отечеству. И тут на помощь приходит родственник новоиспеченного царя — Семён Годунов. Он подкупает Бартенева — холопа Александра Никитича, который подбрасывает в казну боярина ядовитых кореньев и составляет донос, что тот хочет якобы отравить царя. У Александра Никитича учиняют обыск, находят коренья и всех братьев Романовых заточают в тюрьму, пытают, заставляют признаться в злом умысле. Романовы молчат. Тогда приспешники Годунова приводят к пыткам холопов Романовых, чтоб те показали на своих господ, но те тоже молчат. Долго держали несчастных в темнице. Не добившись признания, Борис Годунов собирает боярский при-

говор. Боясь прогневить Годунова, бояре во всём соглашались с ним и признают Романовых виновными, надеясь этим заслужить милость царя. Позднее многие из них поплачутся за свою трусость и разделят участь Романовых.

А братьев и их родню ссылают в самые дальние и глухие места Руси. Феодора Никитича постригают в монахи и под именем Филарета отправляют в Антониев монастырь, жену его Аксинию Ивановну тоже заставляют принять постриг и под именем Марфы ссылают в один из заонежских погостов; Александра Никитича — в Усолье-Луду, к Белому морю; Михаила Никитича — на крайний северо-восток, в Нырбокку; Ивана Никитича — в Пелым; Василия Никитича — в Яранск. Сестру их Настасью Никитичну с сыном старшего брата Феодора Никитича пятилетним Михаилом — будущим царём, первым в династии Романовых, — увозят на Белоозеро.

VI

Белка резвилась. Она прыгала с ветки на ветку, распушив огненно-рыжий хвост, перелетала с дерева на дерево. На миг останавливалась, вставала на задние лапки, повёртывала мордочку к охотнику и, только он начинал целиться, тут же срывалась вниз. Она точно дразнила Варку Микитина, который принял эту игру и терпеливо выжидал нужного момента. “Скачи, скачи, наскачешься — моя будешь. Не таких объезжали!” — успокаивал он себя. Собака, задрав морду, азартно лаяла на белку, кружилась вокруг ёлки, яростно прыгала на ствол, скребла передними лапами кору.

— Буско! Молчи! — недовольно обрывал Варка собаку. — И без тебя вижу — пугаешь только, — ворчал он, пристально следя за белкой.

Собака неохотно отходила, садилась на снег, но тут же, не выдержав, опять стремительно кидалась вперёд. А белка, точно хотела закружить её, выписывала кольца на самых нижних ветках, затем свечкой взмывала на вершину, где её не было видно. “Ну, и векша! До чего премудрая!” — терпение Варки иссякало.

Но вот белка прервала свой бег, словно назло собаке, остановилась на голой ветке около ствола. Варка с силой натянул лук и... белку как ветром сдуло на другое дерево.

— Премахнулся!.. Ёлки-палки! — выругался Варка: жаль было упущенной белки, а ещё больше — потерянной стрелы.

Стрела была новая, с закалённым наконечником. Она крепко вонзилась в ствол старой толстой ели, конец её раскачивался от сильного удара. Варка решил достать стрелу. Он положил на снег лук, снял колчан, поплевал на руки и, ухватившись за ветви, полез наверх. В толстой зимней одежде было тяжело и неудобно продираться сквозь колючие ветви, но Варка все же добрался, выдернул стрелу, бросил на снег. Начал спускаться. Оставалось уже совсем немного, и вдруг нижний сухой сучок не выдержал, хрустнул, и охотник кулём свалился вниз. Резкая боль обожгла правую ногу, и расслабляющее тепло разлилось по всему телу. Варка стянул валенок, ощущал ступню. Глухая боль ощущалась в косточке выше пятки. Пошевелил пальцами — двигаются. “Вроде перелома нет, а там Бог его знает. Надо на зимовье топтать, мужики поглядят”. Варка огорченно сплонул. Поднялся, осторожно приступил на ногу, надел голицы, подобрал лук, колчан со стрелами, свистнул собаку, всё ещё гонящую белку, и направился в обратный путь.

Да, день у Варки сегодня был неудачный, прямо какой-то заколдованный. Вчера вечером в зимовье, когда заморившиеся мужики попадали на пол тесноватой охотничьей избушки и тут же захрапели, он долго ворочался на подстилке из лапника: сон не шёл. А когда уснул, какая дребедень только не привиделась. Запомнился, правда, лишь утренний сон. Будто бежит он по полю, а за ним по пятам — чудище, большое, страшное, он бежит, а сил нет, чудище вот-вот схватит. И тут — впереди пропасть бездонная. Он проваливается в неё и долго, томительно долго летит; ему кажется, что из груди сейчас вырвется сердце... Проснулся весь потный. “Неужто лихоманка мает?” — подумал.

Однако попив с мужиками горячего чая, настоящего душистым блушником, и подкрепившись куском оленины, Варка почувствовал себя бодрее. Как только забрезжил поздний зимний рассвет, мужики оделись, вышли из избушки и быстро разобрали голицы, спеша скорее попасть в свои охотничьи угодья. У каждого нырбца в тайге были свои места, облюбованные им для охоты. Снаряжаясь, Варка обнаружил, что на левой голице перевязло наполовину лопнуло. “Эка незадача!” — расстроился он. Выпросил у запасливого Якуша Чёрного ремень, сделал новое. Но пока оттаивал в избушке голицу и вытаскивал примерзшее перевязло, пока шивал новое — время ушло. “Мужики, наверное, уже зверя бьют, а я не у шубы рукав”, — горевал он, отходя, наконец, от зимовья.

Он шёл по старым испытанным местам, известным только ему, где всегда было много зверя. Но сегодня как отрезало — ничего, и он все шёл и шёл, углубляясь в тайгу, в надежде на удачу. Однако за весь день Варка добыл лишь соболя да куницу. А тут ещё эта хитрющая белка. “Да, сон в руку”, — думал он, ковыляя по лесу.

Вначале Варка двигался легко, но с каждым шагом боль в ноге усиливалась, хотя он старался всю тяжесть переносить на левую, здоровую ногу. Остановился. Уселся на сухое поваленное непогодой дерево, снял валенок, размотал портянку, стянул шерстяной носок. Ступня опухла.

После отдыха идти стало ещё трудней, на ногу невозможно было ступить: острая боль пронзала всё тело.

Короток зимний день. Уже начинало смеркаться. Варка стал устраивать ночлег. Вытащил из-за пояса топор, нарубил лапника, настелил его под большой раскидистой елью, около ствола которой в снегу было круглое углубление наподобие воронки, чтобы защититься от ветра. Чтоб было теплее, положил с собой Буска и завалил себя сверху ветками.

Ночью разгулялась вьюга. Беспокойно спавший Варка проснулся при первом же порыве ветра, да так и не сомкнул глаз до самого рассвета. Глухо ныла больная нога, жар сушил рот, но он терпел, подавляя желание повернуться на другой бок, боясь напустить в нагретое лежбище холод: только крепче прижимал к себе тёплое тело собаки, и она, словно понимая состояние хозяина, тихонько урчала. Он слышал, как редела вьюга, как тоскала сверху охашками снега, как шумели кронами ели и сосны, как тоскливо скрипело сухое старое дерево и как, не выдержав напора ветра, с жалобным треском упало. “Вот эдак и я упаду”, — невесёлая мысль пришла ему в голову, но он тут же отогнал её. Мысли о смерти никогда не одолевали его. Высокого роста, крепкого сложения, такого крепкого, что со стороны казалось, будто тело его, скрытое одеждой, свито из веревок, он всегда чувствовал себя сильным.

Но Варка понимал своё трудное положение. Вьюга разыгралась надолго, пережидать её бессмысленно, к тому же хворому. Идти — но куда, когда замело все следы, да и метёт так, что ни зги не видно. И все же надо двигаться. Он решил идти, положившись на чутье Буска — собака должна вывести к жилью.

Как только, по мнению Варки, рассвело — в его лежбище было ещё совершенно темно, — он попытался сбросить с себя ветки, но не тут-то было: за ночь вьюга намела вокруг ели большой сугроб. Разгребая руками снег, Варка выполз наружу, за ним, зябко отряхиваясь, выскочил Буско. Вокруг всё свистело, шумело, трещало, снежная пелена закрыла землю и небо, в двух саженьях ничего не было видно. Варка достал из мешка длинный узкий сыромятный ремешок, привязал его к ошейнику Буска, другой конец — себе за пояс. Вырубил длинную палку и, опираясь на неё, как на костыль, потихоньку пошёл за собакой.

Вначале Буско метался из стороны в сторону, обшаривал кусты, но когда хозяин приказал: “Домой, Буско!” — пёс понимающе посмотрел на него, одобрительно помахал пушистым хвостом и, нюхая снег, устремился вперёд, по одному ему ведомой дороге. Буско был низкорослый, но длинный телом, выносливый, умный. Густой грязно-жёлтый мех надёжно укрывал его от лютых морозов.

Варка шёл всё тише и тише, всё чаще и чаще делал остановки. Больная нога онемела, налилась какой-то невероятной тяжестью, голица с неё тащи-лась сзади, привязанная ремешком к поясу. Снег залеплял глаза, набивался в рот, падая с деревьев, сыпался за воротник. Сильный ветер затруднял и без того медленное движение. Буско рвался вперёд, с силой натягивая поводок, дёргал Варку, но тот был не в силах прибавить шагу.

Наконец, он совсем остановился: и здоровая нога перестала повиноваться, от усталости одеревенела. Тогда он снял вторую голицу и пополз. Он дышал, как загнанная лошадь, работая локтями, пропахивая в рыхлом свежем снегу глубокую борозду. Ресницы и усы у него обмёрзли, щёки побелели, но Варка упрямо двигался вперёд. Снежная круговерть всё усиливалась, теперь он не видел перед собой и собаки.

Варка полз, пока силы не оставили его. Обессиленный, уткнулся он лицом в снег и задремал. Буско безуспешно натягивал поводок, разгоняясь, дёргал что есть мочи — хозяин не двигался. Он вернулся, подбежал к нему, а увидев распростёртое тело, завыл. Затем лихорадочно начал лизать лицо, растопляя снег. Варка очнулся. Увидев суетящегося Буска, он понял, что лежит в снегу, и почувствовал, что до жилья ему не дойти. Оставалось одно: отпустить собаку в надежде, что она приведёт людей.

Он приподнялся, сел, отвязал Буска и, тяжело огладив его дрожащей рукой, подтолкнул:

— Беги, Буско, беги один. Домой!

Собака понимающе потёрлась о его плечо, лизнула в щёку и скрылась в снежном аду. Варка посмотрел ей вслед, но за снежной пеленой ничего не увидел. Волоча ногу, подполз к высоченной могучей лиственнице, не гнувшей даже под натиском бури. Одну голицу воткнул в сугроб, вторую положил мехом вверх, сел на неё, прислонившись спиной к широкому стволу лиственницы, и тут же забылся в тяжелом бреду.

VII

Тушин и двое стрельцов устроились на постой у Ивашки Носа, четверо других — в старой избе Якуша Чёрного. Семья Носа состояла из жены Опроха, молчаливой забитой бабы с согнутой от работы спиной и пугливым взглядом выцветших синих глаз, двух малолетних дочерей-погодков и двенадцатилетнего сына Никона с невесткой Маней, полной круглолицей девкой с алым румянцем на щеках.

Опроха детей каждый год носила, но выжили только трое, остальные умерли от брюшной болезни в младенчестве. Всё хозяйство безропотно тащила она на себе, Ивашка ленился заниматься землёй и домашними делами. Он с охотой ходил лишь в лес да на Колву рыбачить. Но видя, что тяжёлая работа и ежегодные роды ухаживали жену, что долго она не потянет непосильный воз — упадёт, и чтобы взять в дом работницу, Ивашка решил женить недоростка-сына. Опроха была против раннего брака Никона, но перечить не смела. Посватались в многодетную семью Сенки Дмитриева за старшую дочь Маню. У Сенки были одни дочери — шестеро, и все, как одна, приземистые, крепкие, ядрёные, как куропатки по осени, хоть жили и впроголодь. Сенка, не колеблясь, решился отдать взрослую дочь.

Обвенчались. Ночью молодых положили на печь. Жених робко лежал на спине. Невеста жарко прильнула к нему горячим податливым телом, но он отвернулся от неё и заснул крепким праведным сном, по-детски причмокивая губами: Мане стало до слёз обидно, жаль своей молодости, обуяла досада на дурное замужество. Но природная чистота и доброта взяли своё: она успокоилась, женским разумом понимая, что все ещё впереди, может, со временем из малолетнего жениха получится хороший муж. Во всяком случае, в их женитьбе его вины нет, как и её. “На все воля Божья!” — Маня приподнялась на локте и нежно прикоснулась губами к виску мужа.

Но сон не шёл. Она лежала на спине, разметав руки и ноги, слушала тишину и возню тараканов в углах. Вдруг скрипнули доски полатей и кто-то тяжело завозился. На полатах спали свёкор со свекровью и двое малолетних

дочерей. Маня напряглась. Она не видела в темноте, но обостренным слухом слышала всё, а воспаленный мозг дополнял картину. “Уйди, Ивашка, сноха учует”, — бормотал голос свекрови. “Не учует — они спят, а хошь и учует — пусть привыкнут”. Раздался неловкий поцелуй, и полаты заскрипели. Мане было неловко слушать, но какой-то нездоровый интерес заставлял её отмечать всё до последней мелочи. Она лежала, вжавшись в постель из овчины, пытаясь как бы убежать, отстраниться, но в то же время напрягшись, закрыв глаза, чутко улавливала и понимала всё, что делалось на полатах. С тех пор, как бы ни уставала за день, Маня всегда просыпалась в такие минуты, жестоко страдая всем телом.

Ивашка уловил томление в глазах снохи, и им овладела греховная страсть. Он корил себя за такие думы, чувствуя свою вину перед сыном, но влечение побороть не мог.

Однажды пасмурным осенним днём Ивашка рубил дрова в ограде. Сноха топила баню. Он видел, как она, покачивая крутыми бёдрами, несла на коромысле бадейки с водой, направляясь через огород в баню. Сердце его оборвалось. Ивашка бросил топор, схватил в охапку несколько поленьев и напрямую, без тропки, увязая лаптями в глинистой земле, заспешил в баню. Крепкий невыстоявшийся жар с дымком обдал Ивашку, захватил дух. Он закашлялся, присел у порога, отдышался, сбросил поленья, поднялся и, согнувшись, выставив вперед длинные руки, пошёл на сноху. Та стояла с коромыслом на плечах посреди бани, напротив оконца, затянутого бычьим пузырём, и с удивлением и страхом смотрела на свёкра.

— Ты чо, тятя! Ты чо! — коромысло с треском упало на пол.

— Маня, ты шибко зарная! Шибко зарная! — Он попытался обнять её, но она в ужасе отскочила в угол.

Тогда Ивашка схватил её, хотел повалить на пол, но девка, напрягшись молодым сильным телом, отчаянно боролась, пытаясь вырваться и выскочить на улицу. Но хоть и неудобно было Ивашке в низенькой бане, согнувшись, он встал на четвереньки, как клещами, сдвинул сноху и вместе с ней рухнул на пол. Она ещё долго билась под ним, сжав колени, увертываясь от мокрых слонявых губ, затем, обессилев, сдалась...

Довольный и напуганный, Ивашка тормозил её, заставляя подняться. Она слабым голосом произнесла:

— Сгинь.

Пятясь задом, Ивашка вышел. Маня поднялась, села на пол, прислонившись спиной к лавке, и долго неотрывно смотрела на красные догорающие угли каменницы, слёзы ручьем хлынули из её глаз, и она беззвучно затряслась всем телом, оплакивая свою поруганную невинность.

В следующий раз, когда Ивашка снова подошёл к ней, она уже не сопротивлялась, безропотно отдалась, во всем полагаясь на судьбу. “Видно, так Богу угодно”.

Опроха всё вскоре узнала, но вида не подала. Она жалела сноху, понимая, что во всем виноват муж, но боялась ему перечить, страшась его гнева.

В избе у Носа гуляли стрельцы. Поселившись в Нырбокке, Тушин скучал от безделья. Скучали и стрельцы. Вначале они по двое охраняли узника, затем решили, что дело это ненужное: и так никуда не убежит, стали лишь навевываться несколько раз в день.

Гульба была в разгаре. За столом под образами, нахохлившись, сидел Тушин, слева и справа от него — стрельцы.

— Роман Андреевич, отец родной! — тянулся к Тушину рослый рыжий стрелец Тимоха, держа в конопатой руке глиняную кружку. — Хороша жизнь, пей да спи. В-выьем! Выьем за здоровье государя-батюшки! Да сгинут злодеи! В-выьем!

Тушин взял стоящий перед ним стеклянный кубок — в нём рубиновым цветом искрилось вино, чокнулся со всеми, выпил. “Чему радуется холоп? “Жизнь хороша”, — передразнил он про себя Тимоху. — Да в этой глухомани с тоски зачахнешь”.

Тимоха с кружкой в руке вышел на середину избы и по-лошадиному затопал, весело наигрывая губами. К нему присоединились остальные, топча

пол непослушными ногами. Лишь Илларион, старый, плешивый, с густой сивой бородой, перебравший хмельного, остался на месте. Он поднимал отяжелевшую голову от стола, разевал почти закрытый волосами рот:

— Э-эх, стрельцы-удальцы! — и, не докончив песни, со стуком ронял голову на загаженную столешницу. Затем снова поднимал:

— Э-эх, стрельцы-удальцы! — и снова со стуком ронял. Тушину надоела пьяная возня. Хотелось чего-нибудь нового. Глаза его тоскливо шарили по избе и, наткнувшись на Маню, боязливо вжавшуюся в угол у чела печи, вздрогнули, остановились. Маня прислуживала стрельцам: подавала на стол вино, закуски. Свёкор был на охоте, свекровь с Никоном уехали на Колву за сеном, девки-погодки, испугавшись пьяных, оделись и убежали на улицу.

“Девка-ягодка!” — Тушин внимательно рассматривал Маню, видя, как стыдливо польхнуло румянцем её лицо. Кровь заходила по его жилам толчками.

— Шабаш гулянке! — Тушин встал, оправил кафтан. — Собирайтесь, проведайте злодея! Да поживей! — прикрикнул он, увидев недоуменные взгляды стрельцов.

Стрельцы подняли Иллариона и, шатаясь, с песнями вывалились на улицу.

Тушин закрыл дверь на засов, подошёл к Мане. Та сидела ни жива, ни мертва, только нервно билась на шее под тонкой белой кожей синяя жилка, да безысходный испуг светился в глазах. Он взял её на руки, кроткую, горячую, и понёс...

Стрельцы не пошли к яме, а толпой ввалились в избу Микитки Ларева. Жена Микитки Окулина возилась у печи, дочь Марфа ткала красна.

— Х-хозя-яйка! Таш-ши-и пива! — с порога заорал Тимоха.

— Пир-рова-ать б-будем! Г-гуля-яй, сок-колики! — шумели стрельцы.

Перепуганная Окулина суетливо тёрла руки о старый zipун — она собиралась на двор кормить скотину — осипшим голосом ответила:

— Не-ету, батюшко-о, не-ету пива.

— Ка-ак не-ету?! — грозно насунился Тимоха. — Ка-ак смеешь стражнику ца-арскому п-перечить?!

— Откель ему взятыся, не престол ить, да хоша и праздник — варить-то не из чего: солоду нету.

— В-врёшь, в-ведьма!

— Святой крест, нету! — Окулина перекрестилась на образа.

Но Тимоха уже не слышал её: взгляд его сосредоточился на Марфе, при виде которой он забыл обо всём. Румяная, статная, в лёгком летнем сарафане, с широкой русой косой, сидела она за краснами, боясь ворохнуть, безвольно опустив руки на полные колени.

Тимоха всхрапнул, бросился на Марфу, схватил её в охапку и потащил к двери. Окулина с криком кинулась на помощь дочери, но, отброшенная Тимохой, свалилась на пол, вскочила и, как волчица, бросилась на насильника, ногтями вцепилась ему в лицо, но тот, одуревший от близости девичьего тела, ломился к двери как медведь. Стрельцы оттащили Окулину. Тимоха распахнул дверь и поволок рыдающую Марфу на поветь, на сено.

Возбуждённые стрельцы хохотали, пьяно качаясь, топтались по избе.

— А, чо, робяты, она иишо тётка не старая, иишо утешит! — осклабился коренастый, кривоногий стрелец в разорённом сзади кафтане.

Он поднял с пола обессиленную от горя Окулину и заковывлял вслед Тимохе.

Древняя бабушка Аграфена распласталась над зыбкой, обороняя младенца сухоньким телом.

— Гой-да! Гой-да! Айда-те по избам! Там девок всем хватит! Мужики на охоте — лапай каку хошь! — раздался задорный клич, и стрельцы, толкая друг друга, устремились к выходу, лишь уснувший Илларион громко храпел у порога.

Они кинулись по домам ублажать хмельную похоть. И долго в тот день разносились по Нырбке плач и женские крики.

VIII

Мужики возвращались в деревню. Угрюмый беззвёздный вечер опустился на землю, лишь от снега исходил серый неясный свет. Лес, такой знакомый и родной, стал пугающе-чёрным, деревья, милые желтоствольные сосны и зеленые ели превратились в холодные чудовища.

Шли потемну, чтоб никто не видел, блюли охотничью заповедь: чужой глаз испортит добычу и впредь удачи не будет. Шли невесёлые: охота была трудная, пурга перебила все замыслы, а тут ещё потерялся в тайге Варка Микитин. После метели исчертили лыжами его участок — нигде не обнаружили, как сквозь землю провалился.

Микитка Ларев, мрачный, осунувшийся, тяжело поднимался на крыльцо. В раздумье постоял у двери, не зная, как сообщить семье о потере сына, ничего не придумав, дёрнул ручку на себя. Увидев его, Окулина, дочь Марфа и бабушка Аграфена залились слезами. Архипка, вжавшись в угол, сидел, как привидение, не шелохнувшись.

— Чо-и-но стряслось!? — вне себя гаркнул Микитка. Те, сбившись в кучу, заголосили ещё пуще.

— Чо-о подеялось!?

Плач не унимался. Микитка в изнеможении опустился на голбец. Никто не подходил к нему, не пособлял разоблачаться от тяжёлой заледеневшей одежды. Наконец, бабушка Аграфена несмело приблизилась.

— Микитка, отрок мой, сберись с силами: беда у нас великая, — чуть слышно прошепелявила она.

— Кака ишло напасть, мати?

— Опоганили, обесчестили дщерь твою да супружницу твою...

— Хто-о? — Микитка вскочил с голбца, лицо налилось кровью, глаза безумно расширились. Он с такой силой надавил на приступок, что тот вывалился из печи.

— Х-кто-о?! — страшно выдохнул он.

— Тимоха со стрельцами.

Микитка хряснул об пол доску-приступок, вихрем вылетел из избы. Он широко шагал по утрамбованной конскими копытами дороге, перемёрзший снег визжал под обледеневшими валенками.

Взбешённый, подошёл он к избе Ивашки Носа, вскочил в сени, распахнул дверь и прыгнул внутрь. Тушин с двумя стрельцами сидели за столом, ели.

Микитка бросился к Тимохе, встряхнул его кафтан, поднял, подержал на весу, поглядел в трусливо заметавшиеся глаза и всадил широкий охотничий нож прямо в шею. Душераздирающий крик Тимохи взорвал тишину. Второй удар Микитка нанёс в грудь, и безжизненное тело обидчика мешком сползло с лавки.

Домочадцы Ивашки от страха забились по углам, сам он, белый как смерть, прижался к печи. Тушин и второй стрелец, полураздетые, ударили из избы. Огромный, в растерзанной одежде, с окровавленным ножом в руке, Микитка выскочил вслед. На улице к нему присоединились мужики, тоже бежавшие рассчитаться с насильниками за позор своих жён и дочерей.

Тушин с напарником бежали к дому Якуша Чёрного, где жили остальные стрельцы. Они успели заскочить во двор и захлопнуть ворота. И тотчас оттуда загремели выстрелы. Нырбцы попадали в снег. Снова поднялись, и снова навстречу им — красные вспышки и резкий визг пуль. Стрельцы падали из пищалей.

В горячке погони да за стрельбой никто из мужиков не заметил, не услышал, как от дома Ивашки Носа отъехали сани, запряжённые высоким гнедом мерином, и шибко помчались на выезд.

Нырбцы отошли на безопасное расстояние, послали гонца за ружьями, чтоб на пальбу стрельцов ответить огнём. На помощь отцам пришли сыновья: два взрослых отпрыска Ерёмки Бобыля, крепыши, как грибы-боровики, да двойнята Якуша Чёрного — подростки.

Вооружившись, мужики собрались на совет.

— Чо-и-но будем делать, братья? — тихо спросил Микитка Ларев.

Мужики понурили головы.

— Заварили бучу, — глухо буркнул Ерёмка Бобыль и звонко высморкался.

— А ско-ко можно обиды терпеть?! Эвон, како лихо с дочерьми нашими сотворили! Повесить окаянных на берёзе — и вся недолга.

— Хорошо баять — повесить! Они, эвон, в доме укрылись. Как эку крепость взять? — возразил Якуш Чёрный.

— Да-а, — задумался Микитка. — Но и выхода нет. Жизни от душегубов не стало. Что так погибель, что этак. Нет, пушай вперёд мы их, собачьих детей... А опосля уж чо будет, то и будь: всё в руках Божьих.

— А, можа, домочадцев заберём да к вогулам подадимся? — предложил Ерёмка Бобыль. — Никакой царь нас тамо не съшшит. Помаленьку обоснуемся, отстроимся да и будем жить. Куды денешься, коли судьба наша погана: из Новагорода московиты выгнали и сюды добрались. Уйдём — животы свои спасём. На чо головы под топор класть?

Порешили: держать стрельцов в осаде, старшего сына Бобыля послать к вогулам, известить их, а самим тем временем приготовиться к переезду. Узника постановили взять с собой.

Но через день в Нырбку нагрянули воеводские стражники. Мужиков предал Ивашка Нос — это он тем вечером послал нарочным сына Никона в Чердынь к воеводе. Стражники схватили Микитку Ларева, Сенку Дмитриева, Ерёмку Бобыля с сыновьями, Якуша Чёрного, связали их и увезли. Семья осиротела. Деревня словно вымерла.

IX

Кочу разбудил неистовый лай собак. Он всстал, накинул кухлянку, начал искать в темноте лук и стрелы. Вдруг услышал: кто-то скребёт обледеневший полог юрты. Быстро расшевелил угли тлеющего очага, подбросил сухих сушчьев — от них резко взвилось пламя и осветило внутренность жилища. Жёны и дети, укутанные со всех сторон тёплыми звериными шкурами, крепко спали. Коча, сжав в правой руке нож, неслышно подошёл к выходу. Прислушался. За стеной юрты кто-то продолжал скрести полог, поскуливая. “Ан, собака!” — у Кочи отлегло от сердца. Он осторожно откинул полость, в проём сунулась лохматая собачья морда. Коча резко схватил собаку за ошейник, втащил в юрту.

— Коть-мать!? Это зе собака Варки, — он узнал Буска. Буско, жалобно скуля, тёрся о торбаса Кочи, хватал его за рукав, тащил к двери. Отбежал к выходу и снова возвращался, маня за собой вогула.

— Хозяин терял, — догадался Коча. — Вьручать завёс? Харосый пёсик, харосый! — топтался он на месте, не зная, что предпринять.

Выглянул наружу — там бесновалась вьюга, превратив ночь в серое месиво.

— Здать придеца, здать, — ласково потрепал он Буска, привязав его к стойке юрты.

К утру вьюга утихла. Ещё свистел ветер, пробрасывая редкие снежинки, но силы её иссякли. Коча запряг оленей, уселся на нарты и, пустив вперёд Буска, поспешил на розыски! “Харосый охотник, харосый...” — думал он о Варке, направляя оленей вслед за Буско.

Вогулы давно подружились с охотниками из Нырбки. Нырбцы помогали им сбывать пушнину купцам, научили плести лапти, мастерить деревянную утварь: ложки, кружки, тарелки. Те в свою очередь делились своими охотничьими секретами, учили бить зверя из лука, что было выгоднее, так как не нужно было покупать порох и дробь. Но из всех нырбцев с луком охотился один Варка Микитин, остальные предпочитали ружья. Вот за это больше других уважал его Коча.

Когда подъехали к листовнице, где Буско оставил хозяина, около неё торчал лишь конец голицы. “Где же Варка?!” — Коча всстал с нарт, размялся, осмотрелся вокруг. Буско яростно бросился на сугроб у листовницы, врылся передними лапами в снег. Вначале показалась шапка, голова, затем

плечи. Коча прислонился губами ко рту Варки, уловил слабое дыхание. “Харасо снег засыпал, а то б каюк охотнику, замёрз”, — обрадовался Коча. Его скуластое морщинистое лицо разгладилось, осветилось тихой улыбкой. Маленький, коротконогий, увязая по поясу в снегу, он потащил Варку. С трудом взвалил на нарты, положил на спину. Отдышался: “Чиждоль!” Достал из-за пазухи кожаную посудину, раскрыл ножом стиснутые зубы Варки, влил огненной воды. Тот проглотил, закашлялся, ещё влил — пошевелился, открыл глаза, повёл по сторонам бессмысленным взглядом. Коча посадил его и через силу заставил выпить ещё. Наконец Варка узнал вогула, хотел что-то сказать, но не смог, только замычал. Коча снова уложил его. “Молси!” — накрыл медвежьей полостью, развернул оленей, и нарты помчались по старому следу.

Очнулся Варка от резкой боли в ноге.

— Молси, дурак, лесить буду. — Коча снова со всей силы дернул ступню охотника. Молнией пронеслась по телу Варки боль, и облегчающая, расслабляющая усталость разлилась по всем членам; почувствовал он, что Коча вправил ступню: сразу стало легче, будто сбросил оковы, сжимающие кости.

— Теперь харасо, теперь Варка опять тайга пойдет, опять охотник будет, — приговаривал Коча, смазывая ногу каким-то зловонным зельем.

Через трое суток Варка начал ходить, слегка приступая на ногу. Стал проситься домой, но Коча никак не хотел его отпускать.

— Засем домой? Дома плохо. Дома баська-царь, злой люди с ружьём. У Коси харасо. Зыть будес у Коси.

— У меня дома баба, углашки, — возражал Варка.

— Засем баба, баба свой отдаю. — Увидев в глазах гостя недоумение, по-своему истолковал его: — Не хосес старый баба, двух досек даю.

Варка усмехнулся в усы. Коча заметил, загорячился:

— Мала?! Есе двух у соседа берём. Кося куницу, белку даёт и берём. Варка охотник харосый, белку бьёт — Косе даёт.

— Нельзя: вы некрещенные, в Бога не верите, — выложил свой самый убедительный довод Варка.

Уселся на шкуры к очагу, смотрел в покрывающиеся белым налётом пепла угли, а в глазах — Анюта с ребятишками. Будто стоят они летней порой в огороде среди цветущей ржи и зовут его, машут руками.

— Засем Бог?! — Коча забегал по юрте. — Ходи лес, молись ёлка — тозе Бог. Зато зыть будес, как баська-царь: своя тайга, сетыре баба и много-много угласка, — продолжал Коча, не замечая, что Варка не слышит его, что мыслями он далеко-далеко отсюда.

У Кочи было три жены и четыре дочери: две девки на выданье, две малолетки и сын-подросток, Коча-младший. Потомство у Кочи было б намного больше, если бы не болезни, не кочевая жизнь, не голод и холод, от которых дети умирали так же часто, как и рождались.

Но как ни уговаривал Коча остаться, Варка не согласился.

Наутро рослые олени и Коча-младший, тепло одетый в дальнюю дорогу и важно восседавший на нартах, ждали Варку. Прощаясь, Коча неловко привлёк охотника к себе:

— Ходи гости, захосес — ходи совсем.

Варка тоже обнял друга, растрогался.

— И ты к нам приезжай. Спасибо за хлеб-соль! Да хранит тебя Бог! — И, забывшись, перекрестил Кочу.

Коча-младший взмахнул нальгачем, и нарты заскользили по мягкому снегу. Олени неслись, всё ускоряя бег, а маленькая чёрная фигурка Кочи продолжала стоять у юрты, всё уменьшаясь и уменьшаясь в размерах, пока не скрылась за соснами. Буско весело трусил сзади, останавливался, нюхая следы, встряхивался и снова догонял нарты.

А дома Варку уже похоронили. Увидев его на пороге, Анюта остолбенела, затем с рёвом бросилась к нему, упала на колени, целовала его ноги, роняя на смерзшиеся валенки слёзы. Варка бережно поднял её, усадил на голбец. Ребятишки, забившись на печь, испуганно и радостно смотрели на них.

Анюта поведала Варке горькую новость, что отца и остальных мужиков из их деревни схватили стражники и увезли.

Х

Наступило лето. Заживо погребённый Михаил Романов по всем законам человеческого бытия должен был давно умереть. Но он жил. Он выдержал лютую северную зиму, затяжную весну, когда талая вода беспрерывно сочилась в яму, отчего стенки её начали обваливаться. Казалось, существование человека в таких условиях совершенно невозможно, но он жил.

Тушин приказал ещё уменьшить его питание, теперь Михаилу давали полфунта хлеба на три дня.

Запыхавшийся Архипка влетел в избу:

— Мати, мати, дай хлеба!

Окулина отложила в сторону лапоть, к которому она пришивала ото-рванную онучу (после ареста Микитки ей пришлось заняться и этим делом), строго посмотрела на отрока:

— На што? Опять собак кормить?

— Нет, мати, нет! — и, подойдя ближе, зашептал: — Окаянные-те бо-лярина морят голодом!

— Откель знашь?

— Мы с ребятами видели.

— Вы опять к яме ходите? Сколь наказывала — не ходить туды?! — Окулина в сердцах отложила лапоть в сторону. — Стрельцы-те схватят да измордуют, а то ишшо, не приведи Господь, посадят в тюрьму, как отцов!

— Да мы играемся в ельнике, а стрельцов-то и не бывает тамо — шибко редко проверяют.

— Ну, мотри у меня!

Окулина помолчала, затем озабоченно спросила:

— Дак, сказывашь, не кормят болярина-то?

— По ломтю хлеба через два дня на третий спускают да туес воды. Бо-лярин-то ругался, а стрельцы-те ему и бают: скорей сдохнешь, да мы домой поедем, надоело из-за тебя в энтот глуши торчать, леших пугать!

— Бу-удь-те вы прокляты-ы, московиты несообра-аз-ные! Когда-ы уж геенна огненная-я под вами разверзне-ется, су-уд правый сверши-ится?! Всю жизнь-ю нам загубили: мужиков на м-муки отправили-и, на-ас истер-за-али! — Окулина всхлинула, две слезы выкатились из её глаз и покати-лись к дрожащему подбородку.

Успокоившись, она поднялась, прошла к печи, достала из стола-залавка рушник, отрезала краюху, кликнула:

— Архипка, сбегай-ко в сени, тамо в углу дудки стоят, которые я вче-рась с лугов притащила, возьми одну.

Архипка мигом обернулся — принёс самую толстую дудку. Окулина с хрустом отрезала от неё кусок на длину свирели, с одного конца залепила полость мякишем. Достала из-под лавки деревянный лагун, похожий на раз-дувшуюся утку, налила из него в дудочку молока и мякишем закупила вто-рой конец.

— На, Архипка, отнеси болярину, да сторожись, чтоб басурманы не ви-дели. Подбегги к яме-то, вроде играшся, да и брось в дырку-ту. Жаль несча-стного, ни за что страдат! Осподи-и, о-осподи-и, оборони нас от ворога лю-того! Сторожись бо, Архипка, чтоб никто не углядел.

Архипка сунул краюху хлеба за рубаху, подпоясанную сыромятным ре-мешком, схватил дудочку-свирель и побежал на улицу. Прыгая на одной ножке, поскакал в ельник. В чаще, среди густого зелёного подроста он оста-новился. Сердце учащённо билось, страх сковал члены, но он гнал его прочь. Зорко прочесал глазами поляну, прислушался. Тишина. Ни звука.

Напрягся всем телом — выскочил из кустов. Приседая и подпрыгивая — изображая всадника и лошадь одновременно — помчался к невысокому ка-менистому холмику. Подбежал, выхватил из-под рубахи хлеб — бросил в квадратную дыру, вслед — дудочку с молоком, негромко крикнул в мрач-ное подземелье: “Лови гостинец, болярин!” — развернулся и тем же аллю-ром поскакал обратно. Постоял в ельнике, отдышался и радостный припус-тил домой.

Через несколько дней Архипка опять наведаясь к узнику. Об этих походах узнали сверстники, они тоже стали таскать из дому еду. Их захватила тайная и опасная игра. Матери опасались за детей, но, жалея боярина, отважились на святое дело.

Когда тайну знают двое, это уже не тайна; когда в ней участвуют дети и женщины, она станет известна всем. Узнал о помощи узнику Ивашка Нос и снова предал нырбцов — доложил Тушину.

Тушин устроил засаду и поймал злоумышленника. Им оказался Архипка. Захваченный у ямы с молоком в дудочке и хлебом, Архипка признался, что нёс узнику, но не назвал, кто его научил, кто дал хлеб и молоко. Он истошно орал, когда Тушин таскал его за уши, но упрямо твердил: “Я са-ам вы-думал-ал, я тайко-ом брал хле-еб...”. Ничего не добившись, Тушин снял с мальчишки портки, жестоко отхлестал крапивою и отпустил. Перепуганный Архипка, забыв про портки, стрелой помчался домой, дико взрѣывая.

Тушин решил не заводить разбирательства: судиться с малолетними отроками да бабами недостойно воина — так он считал. И потом, ему все надоело: Нырбоба, глухомань, суровый климат, ненавидящие его и ненавистные ему местные жители. Хотелось в Москву, к былым привилегиям, почестям, к пылким красавицам, пирам и развлечениям. Виною же тому, что он здесь, в этой угрюмой стороне, а не в главном городе государства, среди живописных улиц со знатными домами, церквями да монастырями под золочѣными куполами, с зелеными рощами, сверкающими водопадами мельничных колѣс на Яузе и Неглинной, — Михаил Романов. “Когда же он очокурится?! Ни одна собака не выдержит такой жизни — сдохнет, а этот живѣт! И по всему — ещё долго протянет!”.

Тушин заставил стрельцов исправно нести караул, чтобы крестьяне не могли помочь узнику.

XI

Тянулись дни. Узник мужественно нёс свой тяжкий крест. Вот уже август позолотил осины, скоро опять зима. При этой мысли Тушина передѣргивало. “Почти год тут маюся! Когда же конец?!”

И вот однажды тоскливым пасмурным утром он приказал стрельцам разобрать вход в яму. Стрельцы раскидали землю с наката, сняли крайние брёвна, опустили лесенку. Тушин, пугаясь в длинных полах кафтана, полез вниз.

Михаил, увидев Тушина, всё понял, но сопротивляться уже не было сил. Он лежал, опершись головой о стену, щурясь от стремительного потока света, хлынувшего в его обитель, от которого за бесчисленные томительные дни отвык.

— Прощайся с жизнью, злодей! — прошипел Тушин, коленом придавив узнику грудь.

Михаил полуслепшими глазами презрительно смотрел на своего убийцу. Страх не было, он давно приготовился к смерти: судьба на этом свете ему не задалась, а там, в потустороннем мире, ждала его встреча с отцом и матерью, любимыми братьями и что-то ещё, неизведанное, загадочное, прекрасное, чего он жестоко был лишѣн в земной жизни.

— Иисус Христос всё-ѐ ви-идит и возда-аст вам с Годуновым з-за мученья-я Романовых сполна-а! Пала-ач! — напрягая последние силы, прохрипел Михаил.

И в тот же миг в его шею, точно кузнечные клещи, впились руки Тушина. В помутившемся сознании Михаила ярким лучом сверкнуло виденье: июльский полдень, Москва-река, он с братьями, обнявшись, сидит на берегу, солнечные блики играют на воде, узкая плотвичка серебряной стрелкой взлетает над речной гладью и исчезает в прохладных струях...

Тушин тяжело поднялся из ямы. Стрельцы настороженно следили за ним. Он отупело топтался на месте, руки его дрожали, правая щека на побелевшем лице нервно подѣргивалась. Полы кафтана и голенища сапог были обильно измазаны глиной. Почувствовав на себе подозрительные взгляды стрельцов, Тушин зло посмотрел на них, снял шапку и перекрестился:

- Романов преставился!
- Господи, прими его душу! — прошептали стрельцы.

ЭПИЛОГ

Молодого боярина Михаила Никитича Романова схоронили недалеко от ямы, в которой он страдал.

Спустя три года свершилась казнь Божия над Борисом Годуновым. В расцвете сил в одночасье испустил он дух, как утверждают современники, от яда. Юный сын Феодор и царица Мария были зверски удушены стрельцами, дочь Ксения отдана на позор Лжедмитрию. “Святая кровь загубленных Годуновым жертв, — говорят летописцы, — требовала крови чистой, и невинные пали за виновного, да страшатся преступники и за своих ближних!”

В 1606 году тело Михаила Никитича было перевезено в Москву и с почестями погребено в Новоспасском монастыре.

Вскоре после этого вернулись в Ныробку крестьяне, измученные, обрванные — хватили горемычные лиха в Казани у царских людей. Но один не вернулся — Микитка Ларев, за убийство стрельца его пытали особенно пристрасно. Много страшных мук богатырь выдержал, но не повинулся, рухнул замертво на глазах палачей, будто кедр могучий, бурей бешеной опрокинутый, повалился, не согнув ствола, корни крепкие из земли выдернув.

Время идёт. Ныробка оживает, оправляется от злого лихолетья. На царском троне — Михаил Феодорович Романов, родной племянник Михаила Никитича. В 1619 году он приказывает на месте ссылки дяди построить деревянную церковь, после чего Ныробка становится погостом.

Через сто лет над бывшей могилой Михаила Никитича неведомыми людьми тайно сооружается православный храм. Будто витязь каменный вознесся он над тайгой, словно буйная сила и молодость боярина, загнанные в яму, возродились и воздвигли эту красоту.

Оковы узника жители передали в храм, где к ним как к святыне прикладываются верующие, идущие в Ныроб из многих мест Руси поклониться мученику Михаилу, и от их поцелуев цепи начинают сиять таинственным матовым светом. Сегодня оковы те — в Чердынском краеведческом музее. Они и теперь блестят, точно горе и терпение несчастного не дают им померкнуть, и кажется, что нерастраченная, невинно загубленная жизнь продолжает теплиться в святом железе.